

ЦДЛ и окрестности. Авторы и герои

К дню рождения Анатолия Гладилена (1935 — 2018)



Анатолий Гладилин

Аксенову, Ахмадулиной, Битову, Вознесенскому, Нагибину, Трифонову, Окуджаве, как и многим сотням советских авторов стал приютом Центральный дом литераторов. Здесь они выступали на творческих вечерах, здесь «прорабатывали» друг друга на собраниях, здесь дрались, здесь отмечали праздники, прощались с ушедшими и праздновали дни рождения.

21 августа исполнилось бы 87 лет блистательному прозаику **Анатолию Гладилину**. Любопытно, что его день рождения шел сразу за днем рождения его близкого друга Василия Аксенова. Их творческие судьбы оказались тесно сплетены минимум на полвека. Гладилин дал старт жанру исповедальной прозы, Аксенов поднял его на огромную высоту. Аксенов, фактически изгнанный из СССР, прибыл в Париж — в аэропорту его встречал Гладилин. И так — всю жизнь со дня их встречи в редакции «Юности» на заре 60-х.

Сегодня мы представляем журнальный вариант главы из книги Дмитрия Петрова «Соло на судьбе с оркестром. Хроника времен Анатолия Гладилена», где речь идет о большой мужской дружбе двух писателей — Василия Аксенова и Анатолия Гладилена.

1.

«Вася-Вася, я снялся в платье бело-голубом...» — эта фраза из московской дворовой припевки на многие годы — своего рода позывной, или, если угодно — пароль — первые слова, которые слышит Аксенов от Гладилина по телефону, которые читает в его письмах и открытках, которые звучат в его тостах.

Дни рождения двух друзей — рядом. У Аксенова 20-го, у Гладилина — 21-го августа. Удобная ситуация. Про нее многие (и не только близкие друзья) говорят: у Васи мы пьем; у Толи — похмеляемся.

В этот часто знойный летний месяц люди их круга порой уже не понимают, где и когда они работают, а где и когда празднуют. Как, скажем, Евгений Рейн. Он вспоминает, как приехав на день рождения Аксенова из Питера в Москву — в ЦДЛ — видит в холле столы, где громоздятся горы арбузов и блоков американских сигарет «Филипп Моррис». И это — в 1966 году!

Из холла ступени ведут прямоком в ресторан! А там — море людей. Детей, так сказать, разных народов. Среди них — сосед Рейна по столу — переводчик аксеновских «Апельсинов из Марокко» и «Звездного билета» на японский. Он чудно говорит по-русски, а после первых рюмок наступает пора бесед. И тут выясняется, что Аксенов — не единственный переведенный им русский писатель. Второй — Лев Толстой. Причем — весь. В 96 томах самого полного на тот момент собрания сочинений. Рейн смеется, а японец серьезен.

— Это большая работа, — говорит он. — Но я перевел кое-кого еще. Двадцать восемь томов Достоевского, все романы Тургенева и Гончарова. Ну и современных авторов.

И в словах его нет и доли шутки. Зато на лице поэта — искреннее изумление. Видя его, гость достает автоматическое перо, расстилает перед собой салфетку и говорит:

— Давайте считать. Я работаю ежедневно, кроме двух дней в году — это праздники: день рождения императора и день рождения моей жены. Начал я переводить еще в университете, сейчас мне семьдесят два года. Для круглой цифры считайте, что я перевожу 50 лет. Моя норма в день — шесть-семь страниц русского текста. Ну, пусть будет шесть. Дней десять за эти 50 лет я проболел. Давайте перемножим.

Евгений видит гроздь цифр на салфетке и понимает: японец прав. Таков его нешуточный труд. Желание обсуждать его вершины куда-то уходит, а приходит желание праздновать — включаться, вливаться, впружиниваться в праздник яркий и бурный. ЦДЛ снят на сутки. И веселье завершается только к утру. С тех пор проходит много лет, но Рейну кажется, что на столь грандиозном празднике с тех пор побывать ему не довелось.

А Гладилин не праздновал свой день в ЦДЛ, зато многие, во главе с Анатолием и Василием, после буйств и веселий на аксеновском торжестве, кавалькадой такси мчались к Гладилину на Проспект Вернадского, тяжело дыша, тихо бранясь

и позвякивая дарами, взбирались на пятый этаж хрущевки и звонили в дверь. Та распахивалась и... праздник продолжался.

Кстати, в этой самой квартире в начале своего романа нередко встречались Аксенов и Майя Кармен. Гладилин давал другу ключики, а сам отправлялся «гудеть» в ЦДЛ или другой какой творческий клуб.

Здесь Аксенов одним из первых читал рукопись крамольного и так никогда и не опубликованного романа Гладилина «Летучий голландец». Здесь вручил другу свою книгу «Жаль, что вас не было с нами» с дарственной надписью: «Сумасшедшему летучему голландцу нашей жизни — Толе Гладилину».

2.

23 августа 1961 года умирает отец Гладилина — Тихон Илларионович. В это время Анатолий и Маша гостят в Варшаве у польских интеллектуалов. Узнав о смерти отца, Анатолий летит в Москву. И замышляет повесть, структурно построенную на диалогах главного героя с отцом — реальных и мысленных. Они и играют ключевую роль в новой книге «Первый день нового года».

Пишет он ее не в черноморской Ялте, а в доме творчества в прибалтийских Дубултах. Это — те же окрестности ЦДЛ, хоть географически неблизкие. И та же публика.

— Зимой 1963-го, — вспоминает Мария, — мы были там вместе — я, Толя, Вася Аксенов и еще несколько приятелей. Толя часто играл в шахматы с Борей Балтером. А Вася, как он расскажет в 2005-м в «Школе злословия», наблюдал игру. Порой случались недоразумения, споры и даже ссоры. Одна из них стала для Василия творческим импульсом. Он решил с юмором описать ситуацию, но текст вышел из-под контроля, и он за ночь написал рассказ «Победа». Многие считают его лучшим у Аксенова.

Там есть рассуждение, что до поры по миру вольно бродят славные дурачки — юнги Билли, ковбои Гарри, красавицы Мэри и Нелли, и бригантина поднимает паруса. Но наступает момент, когда вы чувствуете реальную и опасную близость борьбы.

Предстояла она и на Рижском взморье.

Тут надо сказать, что компания в Дубултах вечно менялась. Приезжали Аксенов, Балтер, Поженян... Приезжал и Станислав Куняев, который, как рассказывал Гладилин, только потом зачислил их в идейные враги, а тогда скромно читал им стихи:

*Ты говорил, что был танкист,
что, мол, была война.*

Ну, а теперь — гони, таксист!

Другие времена...

Прощай, и получай на чай!

И вот однажды пошли они в единственный открытый зимой ресторан в соседнем Дзинтари, где их знакомый, утверждавший, что он бывший белый офицер, а нынче мастер спорта по шашкам, пел с оркестриком песенки, типа «Всё равно, моряк, не скоро ты забудешь этот город».

Всего было шестеро литературных москвичей. И часть из них, приняв на грудь, затеяла перепалку с латышами за соседним столиком. Страсти удалось унять, и Гладилин с Аксеновым решили увести друзей от греха подальше.

Пока они расплачивались, Куняев с одним из латышей, что называется, вышел. Следом выкатились все и увидели: почти двухметровый латыш в большом подпитии, неуклюже прикрывается руками, а поэт, разбегаясь и подпрыгивая, норовит ударить его в лицо. Гладилин его оттаскивает и кричит: «А теперь, ребята, ходу!»

И пусть историю завершит он сам:

— Мы быстро шли к Дубултам. А Стасик всё повторял: «Ты видишь, как мы, русские, умеем драться!» «Умеем, умеем, — отвечал я. — Но сейчас он соберет местную хевру и нас *отдубасят* (слово из ненормативной лексики заменено редакцией) по правилам по первое число». Дубулты уже близко. Я оборачиваюсь. И вижу: на нас бежит целая улица — человек двадцать. Заговорил опыт московских потасовок:

— Быстро — на тротуар, за деревья и бегом к дому творчества! — ору я.

Стасик (топая ногой): «Я с тобой».

Я: «Исчезни! Если тебя увидят, от нас живого места не останется».

И все валят. Кроме Васи.

— Васенька, — молю его я, — уйди! Двое — это группа. Они просто обязаны будут нас *отдубасить* (слово из ненормативной лексики заменено редакцией). А двадцать на одного — это неприлично. Пойми: я с ними договорюсь.

Вася что-то бубукнул и ушел за деревья.

И вот — незабываемое впечатление: на меня, крича, летит улица.

А я стою, смотрю на них и демонстративно закуриваю.

Друзья меня звали «комиссаром по трезвости». За умение быстро трезветь.

Уже не вспомнить, что я думал. Но почему-то был уверен, что двадцать человек на одного не кинутся. А опыт подсказывал: главное — начать разговор. Может, тот парень вспомнит, как я унял Стасика. Конечно, будь это дикая шпана, я бы это не рассказывал. Но тот латыш был простой парень. И с ним — такие же ребята, что пришли на выручку. И увидели перед собой мужика — не хулигана и не блатного — и он с ними заговорил.

Как и что я им «гнал» — не спрашивайте. Но разговор с повышенных тонов сошел на обычные, я сказал, что мы московские писатели, живем в Доме творчества. И тут вышел Вася. Я напрягся — теперь нас двое... Но у него был мирный вид: красная заграничная куртка, клевая кепочка.

— А этого парня, — сказал я, — вы, наверно, читали в «Юности» и видели фильм его — «Коллеги». Помните, там еще играют Лановой и Ливанов?

Те посмотрели с интересом. Спросили про кино... Автограф, правда, не принесли.

Вскоре, сказав друг другу «пока», мы разошлись. Дрожь в коленках я ощутил только у Дома творчества. Вася понял: «Толька, пошли. Есть бутылка. Налью стакан».

В моей книге «Прогноз на завтра» герой вспоминает свою жизнь — Крайний Север, Дальний Восток и эпизод, когда он стоит один, а на него бежит улица. Но он говорит себе: «не с тобой это было». То есть я интуитивно понимал: негоже мне рассказывать про себя эту историю, слишком я неприлично героически выгляжу, хотя было это со мной».

Он не скоро забыл этот город. Точнее — не забыл никогда.

3.

Еще и потому, что здесь с ним приключилась удивительная история.

После встречи нового 1962 года из Дуболтов все разъезжаются. На взморье ни души. Сосны, ветер, небеленый холст небес и дерюга моря. Живет Гладилин во флигеле, комнатка махонькая, удобства на этаже, но он рад, потому что в Доме — почти один, так что, не отвлекаясь на соблазны, пишет с утра до ночи. И за месяц заканчивает повесть. К полуночи дописывает последнюю страницу и ложится спать. Будит его грохот — плотно закрытое окно распахивается и мощный порыв ледяного ветра вносит в комнатку снежное облако. Толя зажигает лампу, закрывает ставни и окно, хочет выйти в коридор, но не видит одного ботинка. Глядит под стол, под кровать, в шкаф — ботинка нет...

А утром за окошком среди сосен, блестя на солнце, снег лежит. А невесть как исчезнувший ботинок — глядь — а где стоял, там и стоит.

Толя поражен. Ведь ключ к сюжету его новой повести — реальные и воображаемые диалоги отца и сына. А структурно эта книга — чередование эпизодов бурной личной жизни молодого художника-авангардиста и больничного быта старого большевика. У него, как и у отца Анатолия, нет левой ноги, потерянной на гражданской. Надо ли говорить, что ночью не хватало именно левого ботинка. Такие вещи производят сильное впечатление. И Гладилин — не исключение.

Он перечитывает рукопись, стараясь сверить то, что говорят герои, с тем, что говорили или могли сказать друг другу он и Тихон Илларионович. И считает книгу законченной тогда, когда решает, что точно пересказал всё, что слышал от отца, и вложил в мысли и уста своего *альтер эго* то, чем хочет делиться с миром.

На титульном листе машинистка печатает название: «Человек эпохи Москвошвея» и эпиграф из Мандельштама:

Я ваш, я человек эпохи Москвошвея,

Смотрите как на мне топорщится пиджак.

В «Юности» рукопись принимают. Но всё уже не так, как в конце 50-х и начале 60-х. Теперь главный редактор Борис Полевой — человек не столь широких



Василий Аксенов, Евгений Попов, Анатолий Гладилин, Александр Кабаков, Москва, 90-е

взглядов, как Катаев. И в отделе прозы текст правят (по словам автора — терпимо), меняют заголовок и снимают эпитаф, ведь официально Мандельштам не разрешен. Зачем дразнить гусей? — любимая присказка добрых редакторов. — Уберем второстепенное, но сохраним главное! Главное — повесть. Да, они знают: автору дорого каждое слово, но публикация дороже.

Гладилин утверждает, что когда писал, вовсе о ней не думал. А прочитав, решил: это надо издать. И потому соглашается дать повести другое имя — «Первый день нового года», и снять эпитаф, и принять правки и ждать мнения главного. А тому нравится.

— Будем печатать, — говорит Полевой.

— Он дал добро, — говорят Гладилину.

— Чудеса! — говорит Гладилин. И идет в ЦДЛ.

А там ему вечером за коньячком объясняют: у Борис Николаича свои счета с начальством Академии художеств. А в повести «академики» получают по первое число. Потому он и решился. А вот автору надо бы уехать. Скажем — в Ялту! Чтоб не лез в процесс. И вскоре Толе вручают путевку. В Ялте он пишет «Голландца». Ждет. Узнает от приезжих о воплях Хрущева на выставке в Манеже.

Взволнован. Ведь его герой — модернист. Получает вызов из ЦК на совещание. Звонит в «Юность», там шепчут: «Не езд. Не дай Бог брякнешь что-то не то, и — прощай повесть. А она уже в лите».

Меж тем, скоро год с той ночи, когда ветер выбил окно в Дубултах. И со дня, когда он решил, что текст готов.

В «Голландце» гремит залп — капитан Вериола Веров топит врага, а Гладилин отправляется в ежедневный поход на десять километров. И видит на набережной чудо: в киоске — первый номер «Юности» за 1963 год с аксеновскими «Апельсинами из Марокко» еще не раскуплен! Скатав его в трубку и сунув в карман, он проходит маршрут, возвращается, пишет и думает: «А вернусь-ка и я в Москву».

И вот — столица. Вот — редакция. Пустая. Он — к главному. Там Полевой с карандашом. А на столе редколлегии верстку «Первого дня» вся редакция спешно черкает и заполошно что-то вписывает.

Полевой поднимает глаза. И молча машет рукой: закройте дверь. С той стороны. Отдел прозы встает заслоном, шепчет: пришли гранки из лита, шеф в ярости, график горит, выпуск срывается. Так что ступай — не мешай. И выдавливают в приемную.

— Так, может, переставить в третий номер?

— Да ты что? Тогда точно не выйдет!

Гениальная интуиция. В марте — после погромных воплей Хрущева в Кремле и его атаки на молодую культуру — «День» шансов не имел. Тираж мигом ушел бы в печь.

4.

А так — вышел. В № 2 за 1963-й. Там на обложке серп и молот и комиссары в пыльных шлемах. Вышел. И имел успех.

Публика и критика дружно сочли повесть социально острой, фрондерской и противоречивой. И не мудрено. Вот, например, главный герой говорит:

«При Сталине нам вдалбливали: у нас все хорошо, все отлично.

У нас самая богатая страна.

У нас самый мудрый вождь. Он уберезет нас от всех бед.

У нас — детей — самое счастливое детство.

Наши колхозы — самые зажиточные.

Наша одежда — самая красивая.

Всему этому верили». (Слышите переключку с «Голландцем?»)

«Я знаю, отец, ты скажешь: как вы могли не верить? Ведь у нашего народа много героических дел: Днепрогэс, Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре, папанинцы и т.д. Это всё правда.

А после Двадцатого съезда мы узнали о трагедии тридцать седьмого года, о трагедии первых дней войны, о ленинградском деле.

Представляешь, как это подействовало на всех нас, особенно на самых молодых?

Ты можешь заявить: вы впали в нигилизм. Нет, отец, тут и проявилась разница между нами и нашими сверстниками с буржуазного Запада.

Мы поняли, что поколение наших отцов — именно вы — нашло мужество раскрыть все ошибки и злоупотребления прошлого.

Ты часто говоришь о тех огромных успехах, которых добилась наша страна, наш народ, наша партия.

Мы не слепые, мы это знаем и видим.

Да, мое поколение уже стало взрослым. <...> У нас есть специальности, у нас есть свое место в обществе. Более того. Большинство из нас нашло свою первую любовь. Мы женились, остепенились. Точка. Вот здесь обычно кончаются все романы. Человек созрел, теперь ему остается жить-поживать да добра наживать!

А для нас всё только начинается. Кто мы: «фишки или великие, лилипуты или поэты?»

Как нам жить дальше? Как продолжать дело отцов, не повторяя их ошибок?

Последствия культа личности не исправишь, ограничившись только изъятием портретов и переименованием городов.

Мы не хотим быть толпой — «все как один», безголосой фигурой на шахматной доске большой политики. Мы не хотим быть маленькими винтиками. Ведь коммунизм начинается тогда, когда человек перестает чувствовать себя бесправной деталью большой машины, когда он считает себя хозяином всего и знает, что ему доверяют и прислушиваются к его мнению, и прислушиваются по-настоящему, а не потому, что наверху решили, что он должен иметь такое мнение.

Мы хотим, чтобы нам доверяли, чтобы у нас было право на поиск».

Это — манифест шестидесятников. Но не какой-то группы, а всего поколения.

— А кто дал вам право говорить от его лица? — уже скоро спросят те, кто только и ждет, «когда кончится эта вакханалия выскочек». Но автора беспокоит другое: как ему исполнить завет отца. А он прост: «...чтоб берег мать. И продолжал дело своего отца». А дело отца — это борьба. Вся его жизнь — баррикада (помним «Вечную командировку»). И сын — художник авангардист — спрашивает себя: а хочу ли я на нее? И если — да, то — на какую? Но задать этот вопрос не может — цензура не пропустит. Поэтому камуфлирует его — спрашивает: «Смогу ли я? Выдержу ли я? Достоин ли я?»

Это мигом замечает критика и Леонид Теракопьян пишет в журнале «Урал», что «слишком жидковато идейное снаряжение» героя Гладилина, и поздновато он собрался «вынуть изо рта соломинку от коктейля, чтоб закрыть собою амбразуру». Дались им эти амбразуры, заваленные телами!? Но Теракопьян догадлив: герой «Первого дня» и в самом деле не готов ничего закрывать, пока никто не ведет огонь. Баррикада — метафора борьбы.

И легко догадаться, что борьбы главного героя с ханжеством и отсталостью «академиков», отказывающих ему в признании и праве на успех. Но и тут для него важно не предать память отца — возможно, единственного человека, которого он любит.

5.

Предательство — главная проблема во всех текстах Гладилина. Воистину «души незаживающий ожог». То, что мучит, истязает и бесконечно изнурительно саднит. Оно терзает автора и героев во всех его книгах, кроме, разве что, «Хроники времен Виктора Подгурского». Хотя и там герой воспринимает невнимание к себе любимой девушки, как нечто подобное. А потом оно будет во всех его повестях.

А с ним — вопрос: почему? Почему без него нельзя? То есть безумно хочется, но — невозможно. Предаешь ты, предают тебя, предают Родину, предают друг друга. Почему: по слабости и из страха? Из зависти и ревности? Ради выгоды? Из-за страсти? Ну, неужели нельзя обойтись?

Судя по всему, он верит, что можно. Но не знает как. И ответа не дает нигде. Значит — не находит. Это — трагедия. Но с ней надо справиться. А для этого нужны силы.

И тогда в «Дне», как и в других его текстах, возникает вопрос: «А может, надо жить и веселиться? Жить и радоваться? Тому, что здоров, молод, что у тебя есть преданная жена и милый ребенок, что вопит по утрам: «Мама, мышонок проснулся!» Жить и верить, что будет счастье, а если неудачи, то они временны. Терпение, терпение и еще раз терпение. Ты дождешься победы. Тебя поймут, или ты что-нибудь поймешь.

Ведь это очень здорово, что ты можешь ходить по земле... есть много стран, которые ты хочешь увидеть и увидишь, много женщин, которых ты встретишь на своем пути, и еще очень много хорошего и красивого на земле, того, что ты обязательно сохранишь в своих картинах. <...>

Весь мир у твоих ног, когда ты дрожащей от нетерпения рукой берешь кисть и перекраиваешь его острыми красками, заставляешь его биться на холсте, как колокол на пожарной машине. Смотри на мир чистыми глазами. Чтоб ни один радужный луч, ни одна улыбка не ушли от тебя незамеченными.

Потом будет поздно. Стрелка времени никогда не останавливается — еще не было такого случая. Торопись!»

То есть спасение в творчестве. Укрыться от предательства — то есть от себя и людей — можно только там. И пока ты можешь творить — можешь жить. И спокойно отправляться каждый вечер в ЦДЛ, где ждут друзья и их таинственная страсть.

6.

Как-то писатель Андрей Яхонтов пожаловался корифею соцреализма Сергею Михалкову, что у него много врагов. Тот ответил — чуть заикаясь, но мгновенно:

— Хочешь, чтоб тебя все любили? Нет ничего проще. Издавай одну книгу раз в 20 лет. Одевайся во что-нибудь рваненькое. Появляйся с такими женщинами, чтоб самому противно было. И болей. Лучше всего — раком. Все будут тебя обожать.



В гостях у Гладилиных Карл и Эллендея Профферы, Василий и Майя Аксеновы, Зиновий Гердт

И душой гимнописец не кривил. Ибо исследовал здешние нравы вдоль и поперек.

А теперь представьте, какие чувства вызывал у иных завсегдатаев писательского клуба Гладилин, здоровый спортивный красавец, входящий в ЦДЛ то с одной, то с другой красавицей и в год издающий по книге и более. Да еще такие, которые нарасхват.

В пору, когда он вступил в Союз писателей и получил необходимую для прохода в клуб красную книжицу, в строй ввели новое здание ЦДЛ — дом неведомого стиля фасадом на Большую Никитскую (тогда — улицу Герцена). С настоящим актовым залом годным для авторских вечеров, торжественных собраний, концертов, кино и панихид, с обширным холлом, широкой лестницей, залом малым и новыми ресторанными залами, включая и знаменитый Пестрый, чьи стены доныне хранят автографы героев.

Были и подвальные помещения, в одном из которых Гладилин вскоре поставил стол для пинг-понга, где в новомодную игру ежедневно «резались» самые резвые из пишущих, выпивающих и закусывающих.

Писатели не были чужды спортивных упражнений. Проводили турнир по шахматам, их сборная состязалась с другими клубами Москвы. Упоенно игра-

ли на бильярде, как говорили — лучшем в столице. Посещали секцию плавания. Шла речь и о создании яхт-клуба! Завел ее поэт Семен Кирсанов. Какой-то член правления спросил:

— А что, у нас много яхтсменов?

— Пока — потенциальных. Но с большим будущим.

— Почему вы так думаете?

— Потому что у нас очень многие всегда хорошо знают откуда ветер дует.

Подвальные сквозняки, однако, не мешали любителям настольного тенниса, и в комнату, где сейчас располагается Нижний буфет набивалось много народу.

Одним из лучших игроков был Николай Леонов — писатель, чей приход в литературу и своеобразный успех, как рассказывают, пролегал через теннисный стол в цокольном этаже ЦДЛ.

С 1953 года он работал в московском уголовном розыске. Как и большинство сотрудников, начинал с оперативной работы. Заочно получил высшее юридическое образование. А параллельно профессионально занимался настольным теннисом, если, конечно, слово «профессионально» подходит к тогдашнему советскому спорту. Был даже капитаном сборной Союза. А потом тренером.

В мир искусства его привела дружба с актером Михаилом Козаковым, который, в начале 60-х в театре «Современник» познакомил Леонова с коллегами, которых очень интересовала его служба в угро. Но говорить о ней по служебным соображениям Николай не мог, и потому, как он пишет в очерке «Олег и его варианты», «выпивал стакан коньяку в кафе-подвале, и начинал спонтанно, с места придумывать что-то, цепляя одно за другое. А вокруг, разинув рты, сидела ошалевшая от услышанного современниковская труппа во главе с Олегом Ефремовым». Так он и открыл в себе талант сочинителя. И тут же познакомился «с волной писателей-шестидесятников... Но прежде всего — с Васей Аксеновым и Толей Гладилиным», которые, во-первых, талант развили, а, во-вторых, привели его в ЦДЛ, где он прежде, чем отправиться в ресторан, показывал класс, играя на столе, поставленном Гладилиным. Мастер белого мяча ставил Гладилину удар, ведь тот играл только на уровне первого разряда, а в ответ мастер прозы помогал будущему создателю образа Льва Гурова и автору «Варианта «Омега» и «Трактира на Пятницкой» осваивать ремесло прозаика.

Ну а причём Садовников? Как причём? Он, как и все, о ком идет здесь речь, перебравшись с юга в Москву, проводил вечера в ЦДЛ (где, если помните, и встретился в Гладилиным), и, познакомившись с Леоновым, стал соавтором его детектива «Мастер».

7.

А дела порой творились изрядные. И не безопасные. Вот одно из таких. «Было это, — считает Гладилин, — зимой 1961-го или 62-го года — самых теплых лет «оттепели». Начальство — литературное, журнальное, издательское, киношное, — обычно такое надменное, ласково, хоть и вымученно — нам улыбалось.

Мы решили, что многое можно, и однажды, закончив дела в «Юности», завернули с Аксеновым в ЦДЛ выпить кофе или чего покрепче, и кто-то нам говорит, что вечером на Красной площади будет митинг старых большевиков, где осудят преступления Сталина.

Сидим в Пестром зале. Набегает народ обсудить новость. Сталина уже вынесли из мавзолея. И такой митинг выглядел логично. Кто-то говорит: «А пойдемте поглядим, что происходит. Писатели не должны отрываться от жизни! Разумеется, надо идти! Пошли-пошли все на Красную площадь! Поддержим старых большевиков!»

Зима. Темно. А мы бурной ватагой полные энтузиазма бодро топаем к Кремлю. Но по дороге ряды редеют. Перед самой Красной площадью, теряется Вознесенский. Но вот мы почти у мавзолея — Аксенов, Арканов, Жора Владимов с женой Натальей, Юнна Мориц... Всех не помню. Боюсь соврать, вот и не перечисляю. Стоим полчаса, весело общаемся, но ни митингом, ни демонстрацией и не пахнет.

Я говорю: «Вася, давай как бы невзначай обернись и посмотри, что за публика собралась на площади». Оцениваем обстановку. Народу много, но весь он какой-то одинаковый. Парами, тройками и группами прохаживаются крепкие мужики, совсем не похожие на старых большевиков. Все в темных пальто и пыжиковых шапках. Я говорю: «Это ГБ». Он: «Точно. Надо чесать отсюда и уводить ребят. Но без паники».

Мы возвращаемся к компании и небрежно так объясняем, что митинга, похоже, не будет, кто-то распустил слухи, нечего нам тут делать, пошли в ЦДЛ.

А Наташка Владимова восклицает: «Мне нужно в ГУМе купить одну вещь. Ребята, подождите нас с Жорой минут пять или десять. А там и тронемся».

Переходим площадь. Мы с Васей идем последними. Но у ГУМа наших не видим. А к нам прилипают молодые люди, машут ксивами и шепчут: «Вы задержаны». А перед нами машина, и ее дверцы гостеприимно распахнуты. Нас сажают назад, туда же втискивается молодой человек, «Волга» рулит по Москве, въезжает в закрытый двор и нас ведут в комнату, где мы видим свою компанию. Ребята переговариваются, не показывая, что нервничают. Лишь Наташка Владимова, в свойственной ей манере, скандалит:

— Я в ГУМе колбасы хотела купить, а нас схватили и повезли. А я есть хочу!

— Ишь ты, колбасы захотела, — злобно отвечает дежурный.

Я понял: скандал надо остановить. Иначе они проведут медицинское обследование и пришьют нам пьяный дебош на Красной площади. И я гаркаю: «Наташка, заткнись!» Все знают: Наташа, если разоидется, ее не остановить. Но у меня с ней, пока она еще не стала женой Владимова, были свои отношения. И она умолкает.

— Ребята, — говорю я, — ведите себя так, чтобы не давать никаких зацепок. А я пойду к их главным и выясню, что происходит. И — дежурному очень спокойно:

— Проводите меня к вашему начальству.



Василий Аксенов с Анатолием Гладилиным, Париж, 70-е

Он поколебался, но повел.

И вот за начальственным столом сидит сравнительно молодой человек — знакомый тип руководящего работника среднего звена и смотрит вопросительно. Я говорю:

— Я — Анатолий Гладилин, член Союза советских писателей. Вот удостоверение, — и кладу перед ним членский билет. — Меня с группой писателей задержали на Красной площади. Объясните, пожалуйста, где мы и что это значит?

Пока он смотрит ксиву и что-то пишет, я объясняю кое-что читателю. Если бы я сказал: «Я писатель» или «я поэт» — он мог решить, что я больной либо выпендриваюсь... Но я сказал: «я — член Союза писателей». А это означало причастность к номенклатуре.

Мне тут же предлагают стул. И теперь визави учтив.

— Где мы находимся, в милиции, в районном отделении КГБ?

— Анатолий Тихонович, — человек за столом помнит мое имя-отчество, — вы в городском штабе комсомольской дружины Москвы. Вас задержали, потому что вы участвовали в незаконной демонстрации на Красной площади.

Стало легче. Я умел говорить с комсомольским начальством. И объяснил, что на его месте я бы позвонил в горком, доложил обстановку и спросил, что делать. Сказал, что работал в комсомоле, в «Московском комсомольце» и «Комсомольской правде», ездил в командировки от ЦК ВЛКСМ. Объяснил, как и почему мы пришли на площадь. А также спросил: почему не милиция, не КГБ, а вы задержали нас — людей очень известных? А теперь рассудите: раз мы узнали, что будет антисталинский митинг старых большевиков — пусть даже это были слухи, —

наверное, они дошли до западных корреспондентов. А теперь они еще узнают, что задержаны писатели. Это ж сенсация для западной прессы! А наши начнут искать, кто напортил? КГБ окажется в стороне, а всё свалят на комсомол.

Сотрудник внимательно меня выслушал. Помолчал. И спросил:

— А что это там у вас дамочка скандалит? Не надо бы так.

— Что вы хотите? Жены писателей — избалованные и нервные, нам с ними трудно.

Мы обменялись заговорщицкими взглядами.

— Анатолий Тихонович, — молвил он, — я обязан записать данные каждого. А потом мы вас отпустим. А вы уже сейчас можете быть свободны.

— Нет, — сказал я, — я вернусь и всё объясню ребятам.

— Как хотите, — последовал сухой ответ. — Главное, чтоб без инцидентов.

Я вернулся, и мне показалось, что вид у компании малость пришибленный.

— Ребята, — сказал я, — это недоразумение. Сейчас всех по очереди вызовут и запишут данные — кто вы и что. А дальше все пойдем кто домой, кто в ЦДЛ.

Раздался вздох облегчения. Но прозвучал иронический голос Юнны Мориц:

— Ребята, а вы не заметили, что последние полчаса Гладилин нами командует?

Я ответил: делайте, что хотите, а мы, например, с Аксеновым пойдем в ЦДЛ.

Мне неловко рассказывать, как я, по словам Юнны, командовал писателями. Но это врезалось в память ее участникам, о чем говорят воспоминания Арканова и фрагмент книги Аксенова «Негатив положительного героя».

Аксенов и Арканов были старше меня, но не работали в комсомоле, хоть и были житейски опытнее и понимали, что значит задержание на Красной площади».

Однако ж, оказалось, что, ничего страшного — история вроде бы забыта и ни на ком не отразилась. Ан нет. Гладилину ее припомнят.

Секретарь МГК ВЛКСМ Василий Трушин сообщит в правление Союза писателей, что 5 марта 1963 года на имя первого секретаря МГК КПСС Николая Егорычева, была направлена информация о задержании Гладилина А.Т. на Красной площади в составе группы литераторов, собиравшихся устроить антисоветскую провокацию. Так что ошибся Анатолий Тихонович. Это было как раз в 1963-м. За пару дней до скандала в Кремле.

А тогда они с Аксеновым действительно пошли в ЦДЛ — греться и унимать волнение. Как в дом родной.

Фотографии предоставлены автором и взяты из Интернета